

Иван Сергеевич
ТУРГЕНЕВ
1818–1883

Иван
ТУРГЕНЕВ

Муму

Избранные произведения



Санкт-Петербург

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)1-44
Т 87

Серийное оформление Вадима Пожидаева

Оформление обложки Вадима Пожидаева-мл.

ISBN 978-5-389-13861-2

© Оформление.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2017
Издательство АЗБУКА®

ДНЕВНИК ЛИШНЕГО ЧЕЛОВЕКА

Сельцо Овечьи Воды.

20 марта 18.. года

Доктор сейчас уехал от меня. Наконец добился я толку! Как он ни хитрил, а не мог не высказаться наконец. Да, я скоро, очень скоро умру. Реки вскроются, и я с последним снегом, вероятно, уплыву... куда? бог весть! Тоже в море. Ну что ж! коли умирать, так умирать весной. Но не смешно ли начинать свой дневник, может быть, за две недели до смерти? Что за беда? И чем четырнадцать дней менее четырнадцати лет, четырнадцати столетий? Перед вечностью, говорят, все пустяки — да; но в таком случае и сама вечность — пустяки. Я, кажется, вдаюсь в умозрение: это плохой знак — уж не трушу ли я? Лучше стану рассказывать что-нибудь. На дворе сыро, ветрено, — выходить мне запрещено. Что же рассказывать? О своих болезнях порядочный человек не говорит; повесть, что ли, сочинить — не мое дело; рассуждения о предметах возвышенных — мне не под силу; описания окружающего меня быта — даже меня занять не могут; а ничего не делать — скучно; читать — лень. Э! расскажу-ка я самому себе всю свою жизнь. Превосходная мысль! Перед смертью оно и прилично, и никому не обидно. Начинаю.

Родился я лет тридцать тому назад от довольно богатых помещиков. Отец мой был страстный игрок; мать моя была дама с характером... очень добродетельная дама. Только я не знал женщины, которой бы добродетель доставила меньше удовольствия. Она падала под бременем своих достоинств и мучила всех, начиная с самой себя. В течение пятидесяти лет своей жизни она ни разу не отдохнула, не сложила рук; она вечно копошилась и возилась, как муравей, — и без всякой пользы, чего нельзя сказать о муравье. Неугомонный червь ее точил днем и ночью. Один только раз видел я ее совершенно спокойной, а именно: в первый день после ее смерти, в гробу. Глядя на нее, мне, право, показалось, что ее лицо выражало тихое изумление; с полураскрытых губ, с опавших щек и кротко-неподвижных глаз словно веяло словами: «Как хорошо не шевелиться!» Да, хорошо, хорошо отделаться наконец от томящего сознания жизни, от неотвязного и беспокойного чувства существования! Но дело не в том.

Рос я дурно и невесело. Отец и мать оба меня любили; но от этого мне не было легче. Отец не имел в собственном доме никакой власти и никакого значения как человек, явно преданный постыдному и разорительному пороку; он сознавал свое падение и, не имея силы отстать от любимой страсти, старался по крайней мере своим постоянно ласковым и скромным видом, своим уклончивым смирением заслужить снисхождение своей примерной жены. Маменька моя действительно переносила свое несчастье с тем великолепным и пышным долготерпением добродетели, в котором

так много самолюбивой гордости. Она никогда ни в чем отца моего не упрекала, молча отдавала ему свои последние деньги и платила его долги; он превозносил ее в глаза и заочно, но дома сидеть не любил и ласкал меня украдкой, как бы сам боясь заразить меня своим присутствием. Но искаженные черты его дышали тогда такой добротой, лихорадочная усмешка на его губах сменялась такой трогательной улыбкой, окруженные тонкими морщинами карие глаза светились такою любовью, что я невольно прижимался моей щекой к его щеке, сырой и теплой от слез. Я утирал моим платком эти слезы, и они снова текли, без усилия, словно вода из переполненного стакана. Я принимался плакать сам, и он утешал меня, гладил меня рукой по спине, целовал меня по всему лицу своими дрожащими губами. Даже вот и теперь, с лишком двадцать лет после его смерти, когда я вспоминаю о бедном моем отце, немые рыдания подступают мне под горло и сердце бьется, бьется так горячо и горько, томится таким тоскливым сожалением, как будто ему еще долго осталось биться и есть о чем сожалеть!

Мать моя, напротив, обращалась со мной всегда одинаково, ласково, но холодно. В детских книгах часто встречаются такие матери, нравоучительные и справедливые. Она меня любила; но я ее не любил. Да! я чуждался моей добродетельной матери и страстно любил порочного отца.

Но для сегодняшнего дня довольно. Начало есть, а уж о конце, какой бы он ни был, мне нечего заботиться. Это дело моей болезни.

21 марта

Сегодня удивительная погода. Тепло, ясно; солнце весело играет на талом снеге; все блестит, дымится, каплет; воробьи как сумасшедшие кричат около отпотевших темных заборов; влажный воздух сладко и страшно раздражает мне грудь. Весна, весна идет! Я сижу под окном и гляжу через речку в поле. О природа! природа! Я так тебя люблю, а из твоих недр вышел неспособным даже к жизни. Вон прыгает самец воробей с растопыренными крыльями; он кричит — и каждый звук его голоса, каждое взъерошенное перышко на его маленьком теле дышит здоровьем и силой...

Что ж из этого следует? Ничего. Он здоров и имеет право кричать и ерошиться; а я болен и должен умереть — вот и все. Больше об этом говорить не стоит. А слезливые обращения к природе уморительно смешны. Возвратимся к рассказу.

Рос я, как уже сказано, очень дурно и невесело. Братьев и сестер у меня не было. Воспитывался я дома. Да и чем бы стала заниматься моя матушка, если б меня отдали в пансион или в казенное заведение? На то и дети, чтоб родители не скучали. Жили мы большей частью в деревне, иногда приезжали в Москву. Были у меня гувернеры и учителя, как водится; особенно памятным остался мне один худосочный и слезливый немец, Рикман, необыкновенно печальное и судьбою пришибенное существо, бесплодно сгоравшее томительной тоской по далекой родине. Бывало, возле печки, в страшной духоте тесной передней, насквозь пропитанной кислым запахом старого кваса, сидит

небритый мой дядька Василий, по прозвищу Гусыня, в вековечном своем казакине из синей дерюги, — сидит и играет в свои козыри с кучером Потапом, только что обновившим белый, как кипень, овчинный тулуп и несокрушимые смазные сапоги, — а Рикман за перегородкой поет:

Herz, mein Herz, warum so traurig?
Was bekümmert dich so sehr?
S'ist ja schön im fremden Lande —
Herz, mein Herz, — was willst du mehr?¹

После смерти отца мы окончательно перебрались на житье в Москву. Мне было тогда двенадцать лет. Отец мой умер ночью, от удара. Не забуду я этой ночи. Я спал крепко, как обыкновенно спят все дети; но, помню, мне даже сквозь сон чудилось тяжелое и мерное храпенье. Вдруг я чувствую: кто-то меня берет за плечо и толкает. Открываю глаза: передо мной дядька. «Что такое?» — «Ступайте, ступайте, Алексей Михайлыч кончается...» Я, как сумасшедший, из постели вон — в спальню. Гляжу: отец лежит с закинутой назад головой, весь красный, и мучительно хрипит. В дверях толпятся люди с перепуганными лицами; в передней кто-то сильным голосом спрашивает: «Послали за доктором?» На дворе лошадь выводят из конюшни, ворота скрипят, сальная свечка горит в комнате на полу; маменька тут же убивается, не теряя, впрочем, ни приличия, ни со-

¹ Сердце, сердце мое, почему ты так печально?
Что тебя так огорчает?
Ведь в чужой стране прекрасно —
Сердце, сердце мое, чего же ты еще хочешь? (нем.)

знания собственного достоинства. Я бросился на грудь отцу, обнял его, залепетал: «Папаша папаша...» Он лежал неподвижно и как-то странно щурился. Я взглянул ему в лицо — невыносимый ужас захватил мне дыхание; я запищал от страха, как грубо схваченная птичка, — меня стащили и отвели. Еще накануне он, словно предчувствуя свою близкую смерть, так горячо и так уныло ласкал меня. Привезли какого-то заспанного и шершавого доктора, с крепким запахом зорной водки. Отец мой умер у него под ланцетом, и на другой же день я, совершенно поглупевший от горя, стоял со свечкою в руках перед столом, на котором лежал покойник, и бессмысленно слушал густой напев дьячка, изредка прерываемый слабым голосом священника; слезы то и дело струились у меня по щекам, по губам, по воротничку, по манишке; я исходил слезами, я глядел неотступно, я внимательно глядел на неподвижное лицо отца, словно ждал от него чего-то; а матушка моя между тем медленно клала земные поклоны, медленно подымалась и, крестясь, сильно прижимала пальцы ко лбу, к плечам и животу. Ни одной мысли у меня не было в голове; я весь отяжелел, но чувствовал, что со мною совершается что-то страшное... Смерть мне тогда заглянула в лицо и заметила меня...

Мы переехали в Москву на житье после смерти отца по весьма простой причине: все наше имение было продано с молотка за долги — так-таки решительно все, исключая одной деревушки, той самой, в которой я теперь вот доживаю свое великодушное существование. Я, признаюсь, даром что был тогда молод, а погрузил о продаже нашего

гнезда; то есть по-настоящему я грустил только об одном нашем саде. С этим садом связаны почти единственные мои светлые воспоминания; там я в один тихий весенний вечер похоронил лучшего своего друга, старую собаку с куцым хвостом и кривыми лапками — Триксу; там, бывало, спрятавшись в высокую траву, я ел краденые яблоки, красные, сладкие новгородчины; там, наконец, я в первый раз увидел между кустами спелой малины горничную Клавдию, которая, несмотря на свой курносый нос и привычку смеяться в платок, возбудила во мне такую нежную страсть, что я в присутствии ее едва дышал, замирал и безмолвствовал, а однажды, в Светлое воскресенье, когда дошла до нее очередь приложиться к моей барской ручке, чуть не бросился целовать ее стоптанные козловые башмаки. Боже мой! Неужели ж этому всему двадцать лет? Кажется, давно ли еду я на моей рыженькой косматой лошадке вдоль старого плетня нашего сада и, приподнявшись на стременах, срываю двухцветные листья тополей? Пока человек живет, он не чувствует своей собственной жизни: она, как звук, становится ему внятной спустя несколько времени.

О мой сад, о заросшие дорожки возле мелкого пруда! о песчаное местечко под дряхлой плотиной, где я ловил пескарей и гольцов! и вы, высокие березы, с длинными висячими ветками, из-за которых с проселочной дороги, бывало, неслась унылая песенка мужика, неровно прерываемая толчками телеги, — я посылаю вам мое последнее прости!.. Расставаясь с жизнью, я к вам одним простираю мои руки. Я бы хотел еще раз надышаться горь-

кой свежестью полыни, сладким запахом сжатой гречихи на полях моей родины; я бы хотел еще раз услышать издали скромное туканье надтреснутого колокола в приходской нашей церкви; еще раз полежать в прохладной тени под дубовым кустом на скате знакомого оврага; еще раз проводить глазами подвижный след ветра, темной струей бегущего по золотистой траве нашего луга...

Эх, к чему все это? Но я сегодня не могу продолжать. До завтра.

22 марта

Сегодня опять холодно и пасмурно. Такая погода гораздо приличнее. Она под лад моей работе. Вчерашний день совершенно некстати возбудил во мне множество ненужных чувств и воспоминаний. Это более не повторится. Чувствительные излияния — словно солодковый корень: сперва пососеешь — как будто недурно, а потом очень скверно станет во рту. Стану просто и спокойно рассказывать мою жизнь.

Итак, мы переехали в Москву...

Но мне приходит в голову: точно ли стоит рассказывать мою жизнь?

Нет, решительно не стоит... Жизнь моя ничем не отличалась от жизни множества других людей. Родительский дом, университет, служение в низменных чинах, отставка, маленький кружок знакомых, чистенькая бедность, скромные удовольствия, смиренные занятия, умеренные желания — скажите на милость, кому не известно все это? И потому я не стану рассказывать свою жизнь,

тем более что пишу для собственного удовольствия; а коли мое прошедшее даже мне самому не представляет ничего ни слишком веселого, ни даже слишком печального, стало быть, в нем точно нет ничего достойного внимания. Лучше постараюсь изложить самому себе свой характер.

Что я за человек?.. Мне могут заметить, что и этого никто не спрашивает, — согласен. Но ведь я умираю, ей-богу умираю, а перед смертью, право, кажется, простительно желание узнать, что, дескать, я был за птица?

Обдумав хорошенько этот важный вопрос и не имея, впрочем, никакой нужды слишком горько выражаться на свой собственный счет, как это делают люди, сильно уверенные в своих достоинствах, я должен сознаться в одном: я был совершенно лишним человеком на сем свете или, пожалуй, совершенно лишней птицей. И это я намерен доказать завтра, потому что я сегодня кашляю, как старая овца, и моя нянюшка, Терентьевна, не дает мне покоя: «Лягте, дескать, батюшка вы мой, да напейтесь чайку...» Я знаю, зачем она ко мне пристает: ей самой хочется чаю. Что ж! пожалуй! Отчего не позволить бедной старухе извлечь напоследок всю возможную пользу из своего барина?.. Пока еще время не ушло.

23 марта

Опять зима. Снег валит хлопьями.

Лишний, лишний... Отличное это придумал я слово. Чем глубже я вникаю в самого себя, чем внимательнее рассматриваю всю свою прошедшую

жизнь, тем более убеждаюсь в строгой истине этого выраженья. Лишний — именно. К другим людям это слово не применяется... Люди бывают злые, добрые, умные, глупые, приятные и неприятные; но лишние... нет. То есть поймите меня: и без этих людей могла бы вселенная обойтись... конечно; но бесполезность — не главное их качество, не отличительный их признак, и вам, когда вы говорите о них, слово «лишний» не первое приходит на язык. А я... про меня ничего другого и сказать нельзя: лишний — да и только. Сверхштатный человек — вот и все. На мое появление природа, очевидно, не рассчитывала и вследствие этого обошлась со мной, как с неожиданным и незванным гостем. Недавно про меня сказал один шутник, большой охотник до преферанса, что моя матушка мною обремизилась. Я говорю теперь о самом себе спокойно, без всякой желчи... Дело прошлое! Во все продолжение жизни я постоянно находил свое место занятым, может быть оттого, что искал это место не там, где бы следовало. Я был мнителен, застенчив, раздражителен, как все больные; притом, вероятно по причине излишнего самолюбия или вообще вследствие неудачного устройства моей особы, между моими чувствами и мыслями — и выражением этих чувств и мыслей — находилось какое-то бессмысленное, непонятное и непреодолимое препятствие; и когда я решался насильно победить это препятствие, сломить эту преграду — мои движения, выражение моего лица, все мое существо принимало вид мучительного напряжения: я не только казался — я действительно становился неестественным и натянутым. Я сам это чувст-

вовал и спешил опять уйти в себя. Тогда-то поднималась внутри меня страшная тревога. Я разбирал самого себя до последней ниточки, сравнивал себя с другими, припоминал малейшие взгляды, улыбки, слова людей, перед которыми хотел было развернуться, толковал все в дурную сторону, язвительно смеялся над своим притязанием «быть как все», — и вдруг, среди смеха, печально опускался весь, впадал в нелепое уныние, а там опять принимался за прежнее, — словом, вертелся, как белка в колесе. Целые дни проходили в этой мучительной, бесплодной работе. Ну, теперь скажите на милость, скажите сами, кому и на что такой человек нужен? Отчего это со мной происходило, какая причина этой кропотливой возни с самим собою — кто знает? кто скажет?

Помнится, однажды ехал я из Москвы в дилижансе. Дорога была хороша, а ямщик к четверке рядом припрег еще пристяжную. Эта несчастная, пятая, вовсе бесполезная лошадь, кое-как привязанная к передку толстой короткой веревкой, которая немилосердно режет ей ляжку, трет хвост, заставляет ее бежать самым неестественным образом и придает всему ее телу вид запятой, всегда возбуждает мое глубокое сожаление. Я заметил ямщику, что, кажется, можно было на сей раз обойтись без пятой лошади... Он помолчал, потрянул затылком, стегнул ее взятяжку раз десятком кнутом через худую спину под раздутый живот — и не без усмешки промолвил: «Ведь вишь, в самом деле, приплелась! На кой черт?»

И я вот так же приплелся... Да, благо, станция недалеко.

Лишний... Я обещался доказать справедливость моего мнения и исполню свое обещание. Не считаю нужным упоминать о тысяче мелочей, ежедневных происшествий и случаев, которые, впрочем, в глазах всякого мыслящего человека могли бы послужить неопровержимыми доказательствами в мою пользу, то есть в пользу моего воззрения; лучше начну прямо с одного довольно важного случая, после которого, вероятно, уже не останется никакого сомнения насчет точности слова: лишний. Повторяю: я не намерен вдаваться в подробности, но не могу пройти молчанием одно довольно любопытное и замечательное обстоятельство, а именно: странное обращение со мной моих приятелей (у меня тоже были приятели) всякий раз, когда я им попадался навстречу или даже к ним заходил. Им становилось словно неловко; они, идя мне навстречу, как-то не совсем естественно улыбались, глядели мне не в глаза, не на ноги, как иные это делают, а больше в щеки, торопливо пожимали мне руку, торопливо произносили: «А! здравствуй, Чулкатурин!» (меня судьба одолжила таким прозвищем) или: «А, вот и Чулкатурин», тотчас отходили в сторону и даже некоторое время оставались потом неподвижными, словно силились что-то припомнить. Я все это замечал, потому что не лишен проницательности и дара наблюдения; я вообще неглуп; мне даже иногда в голову приходят мысли, довольно забавные, не совсем обыкновенные; но так как я человек лишний и с замочком внутри, то мне и жутко высказать свою мысль, тем более что я наперед знаю, что я ее прескверно выскажу. Мне даже иногда странным ка-

жется, как это люди говорят, и так просто, свободно... Экая пруть, подумаешь. То есть, признаться сказать, и у меня, несмотря на мой замочек, частенько чесался язык; но действительно произносил слова я только в молодости, а в более зрелые лета почти всякий раз мне удавалось переломить себя. Скажу, бывало, вполголоса: «А вот мы лучше немножко помолчим» — и успокоюсь. На молчание-то мы все горазды; особенно наши женщины этим взяли: иная возвышенная русская девица так могущественно молчит, что даже в подготовленном человеке подобное зрелище способно произвести легкую дрожь и холодный пот. Но дело не в том, и не мне критиковать других. Приступаю к обещанному рассказу.

Несколько лет тому назад, благодаря стечению весьма ничтожных, но для меня очень важных обстоятельств, пришлось мне провести месяцев шесть в уездном городе О... Город этот весь выстроен на косогоре, и очень неудобно выстроен. Жителей в нем считается около восьмисот, бедности необыкновенной, домишки совершенно ни на что не похожи, на главной улице, под предлогом мостовой, изредка белеют грозные плиты неотесанного известняка, вследствие чего ее объезжают даже телеги; по самой середине изумительно неопрятной площади возвышается крошечное желтоватое строение с темными дирами, а в дирах сидят люди в больших картузах и притворяются, будто торгуют; тут же торчит необыкновенно высокий пестрый шест, а возле шеста, для порядка, по приказу начальства, держится воз желтого сена и ходит одна казенная курица. Словом, в городе

О... житье хоть куда. В первые дни моего пребывания в этом городе я чуть с ума не сошел от скуки. Я должен сказать о себе, что я хотя, конечно, и лишний человек, но не по собственной охоте; я сам болен, а все больное терпеть не могу... Я и от счастья бы не прочь, я даже старался подойти к нему справа и слева... И потому не удивительно, что и я могу скучать, как всякий другой смертный. Я находился в городе О... по служебным делам...

Терентьевна решительно поклялась уморить меня. Вот образчик нашего разговора:

Терентьевна. О-ох, батюшка! что вы это все пишете? вам нездорово писать-то.

Я. Да скучно, Терентьевна!

Она. А вы напейтесь чайку да лягте. Бог даст, вспотеете, соснете маненько.

Я. Да я не хочу спать.

Она. Ах, батюшка! что вы это? Господь с вами! Лягте-ка, лягте: оно лучше.

Я. Я и без того умру, Терентьевна!

Она. Сохрани Господь и помилуй... Что ж, прикажете чайку?

Я. Я недели не проживу, Терентьевна!

Она. И-и, батюшка! что вы это?.. Так я пойду самоварчик поставлю.

О дряхлое, желтое, беззубое существо! Неужели и для тебя я не человек!

24 марта. Трескучий мороз

В самый день моего прибытия в город О... вышеупомянутые служебные дела заставили меня сходить к некоему Ожогину, Кирилле Матвеечу,

одному из главных чиновников уезда; но познакомился я с ним, или, как говорится, сблизился, спустя две недели. Дом его находился на главной улице и отличался от всех других величиной, крашеной крышей и двумя львами на воротах, из той породы львов, необыкновенно похожих на не-удавшихся собак, родина которым Москва. По одним уже этим львам можно было заключить, что Ожогин человек с достатком. И действительно: у него было душ четыреста крестьян: он принимал у себя все лучшее общество города О... и слыл хлебосолом. К нему ездил и городничий на широких рыжих дрожках парой, необыкновенно крупный, словно из залежалого материала скроенный человек; ездили прочие чиновники: стряпчий, желтенькое и злобненькое существо; остряк землемер — немецкого происхождения, с татарским лицом; офицер путей сообщения — нежная душа, певец, но сплетник; бывший уездный предводитель — господин с крашеными волосами, взбитой манишкой, панталонами в обтяжку и тем благороднейшим выражением лица, которое так свойственно людям, побывавшим под судом; ездили также два помещика, друзья неразлучные, оба уже немолодые и даже потертые, из которых младший постоянно уничтожал старшего и зажимал ему рот одним и тем же упреком: «Да полноте, Сергей Сергеич; куда вам? Ведь вы слово „пробка“ пишете с буки. Да, господа, — продолжал он со всем жаром убеждения, обращаясь к присутствующим, — Сергей Сергеич пишет не пробка, а бробка». И все присутствующие смеялись, хотя, вероятно, ни один из них не отличался особенным искусством в пра-

вописании; а несчастный Сергей Сергеич умолкал и с замирающей улыбкой преклонял голову. Но я забываю, что мое время рассчитано, и вдаюсь в слишком подробные описания. Итак, без дальних околичностей: Ожогин был женат, у него была дочь, Елизавета Кирилловна, и я в эту дочь влюбился.

Сам Ожогин был человек дюжинный, не дурной и не хороший; жена его сбивалась на застарелого цыпленка; но дочь их вышла не в своих родителей. Она была очень недурна собой, живого и кроткого нрава. Ее серые, светлые глаза глядели добродушно и прямо из-под ребячески приподнятых бровей; она почти постоянно улыбалась и смеялась тоже довольно часто. Свежий голос ее звучал очень приятно; двигалась она вольно, быстро — и весело краснела. Одевалась она не слишком изящно; к ней шли одни простые платья. Я вообще не скоро знакомился, и если мне с кем-нибудь было с первого раза легко — что, впрочем, почти никогда не случалось, — это, признаюсь, сильно говорило в пользу нового знакомства. С женщинами же я вовсе не умел обращаться и в присутствии их либо хмурился и принимал свирепый вид, либо глупейшим образом скалил зубы и от замешательства вертел языком во рту. С Елизаветой Кирилловной, напротив, я с первого же раза почувствовал себя дома. Вот каким образом это случилось. Прихожу я однажды перед обедом к Ожогину, спрашиваю: «Дома?» Говорят: «Дома, одеваются; пожалуйста в залу». Я в залу; смотрю, у окна стоит, ко мне спиной, девица в белом платье и держит в руках клетку. Меня, по обыкновению, слегка покорило; однако я ничего, только кашлянул для приличия. Девица быстро обернулась, так

быстро, что локоны ее ударили ей в лицо, увидела меня, поклонилась и с улыбкой показала мне ящичек, до половины наполненный зернами. «Вы позволите?» Я, разумеется, как водится в таких случаях, сперва наклонил голову и в то же время быстро согнул и выпрямил колени (словно кто ударил меня сзади в поджилки), что, как известно, служит признаком отличного воспитания и приятной развязности в обхождении, а потом улыбнулся, поднял руку и раза два осторожно и мягко провел ею по воздуху. Девушка тотчас отвернулась от меня, вынула из клетки дощечку, начала сильно скрести по ней ножом и вдруг, не переменяя положения, произнесла следующие слова: «Это папенькин снегирь... Вы любите снегирей?» — «Я предпочитаю чижей», — отвечал я не без некоторого усилия. «А я тоже люблю чижей; но посмотрите на него, какой он хорошенький. Посмотрите, он не боится. (Меня удивляло то, что я не боялся.) Подойдите. Его зовут Попка». Я подошел, нагнулся. «Не правда ли, какой он милый?» Она обернулась ко мне лицом; но мы так близко стояли друг к другу, что ей пришлось немного откинуть голову, чтобы взглянуть на меня своими светлыми глазками. Я посмотрел на нее: все ее молодое, розовое лицо так дружелюбно улыбалось, что и я улыбнулся и чуть не засмеялся от удовольствия. Дверь растворилась: вошел господин Ожогин. Я тотчас подошел к нему, заговорил с ним очень непринужденно, сам не знаю, как остался обедать, высидел весь вечер; а на другой день лакей Ожогина, длинноватый и подслеповатый человек, уже улыбался мне, как другу дома, стаскивая с меня шинель.

Найти приют, свить себе хотя временное гнездо, знать отраду ежедневных отношений и привычек — этого счастья я, лишний, без семейных воспоминаний человек, до тех пор не испытал. Если б во мне хоть что-нибудь напоминало цветок и если б это сравнение не было так избито, я бы решился сказать, что я с того дня расцвел душою. Все во мне и вокруг меня так мгновенно переменилось! Вся жизнь моя озарилась любовью, именно вся, до самых мелочей, словно темная, заброшенная комната, в которую внесли свечку. Я ложился спать и вставал, одевался, завтракал, трубку курил — иначе, чем прежде; я даже на ходу подпрыгивал — право, словно крылья вдруг выросли у меня за плечами. Я, помнится, ни минуты не находился в неизвестности насчет чувства, внушенного мне Елизаветой Кирилловной: я с первого дня влюбился в нее страстно и с первого же дня знал, что влюбился. В течение трех недель я каждый день ее видел. Эти три недели были счастливейшим временем в моей жизни; но воспоминание о них мне тягостно. Я не могу думать о них одних: мне невольно представляется то, что последовало за ними, и ядовитая горесть медленно охватит только что разнежившееся сердце.

Когда человеку очень хорошо, мозг его, как известно, весьма мало действует. Спокойное и радостное чувство, чувство удовлетворения, проникает все его существо; он поглощен им; сознание личности в нем исчезает — он блаженствует, как говорят дурно воспитанные поэты. Но когда наконец минует это «очарование», человеку иногда становится досадно и жаль, что он посреди сча-

ствия так мало наблюдал за самим собою, что он размышлением, воспоминанием не удвоивал, не продолжал своих наслаждений... как будто «блаженствующему» человеку есть когда, да и стоит размышлять о своих чувствах! Счастливый человек — что муха на солнце. Оттого-то и мне, когда я вспоминаю об этих трех неделях, почти невозможно удержать в уме точное, определенное впечатление, тем более что в течение всего этого времени ничего особенно замечательного не произошло между нами... Эти двадцать дней являются мне чем-то теплым, молодым и пахучим, какой-то светлой полосой в моей тусклой и серенькой жизни. Память моя становится вдруг неумолимо верна и ясна только с того мгновения, когда на меня, говоря словами тех же дурно воспитанных сочинителей, обрушились удары судьбы.

Да, эти три недели... Впрочем, они не то чтобы не оставили во мне никаких образов. Иногда, когда мне случается долго думать о том времени, иные воспоминания внезапно выплывают из мрака прошедшего — вот как звезды неожиданно выступают на вечернем небе навстречу внимательно устремленным глазам. Особенно памятной осталась мне одна прогулка в роще за городом. Нас было четверо: старуха Ожогина, Лиза, я и некто Бизьмёнков, мелкий чиновник города О..., белокуренький, добренький и смирененький человек. Мне еще о нем придется поговорить. Сам г. Ожогин остался дома: у него от слишком продолжительного сна голова разболелась. День был чудесный, теплый и тихий. Должно заметить, что увеселительные сады и общественные гулянья не

в духе русского человека. В губернских городах, в так называемых публичных садах, вы ни в какое время года не встретите живой души; разве какая-нибудь старуха, кряхтя, присядет на пропеченную солнцем зеленую скамейку, в соседстве большого деревца, да и то коли поблизости нет засаленной лавочки у подворотни. Но если в соседстве города находится жиденская березовая рощица, купцы, а иногда чиновники, по воскресным и праздничным дням, охотно туда ездят с самоварами, пирогами, арбузами, становятся всю эту благодать на пыльную траву возле самой дороги, садятся кругом и кушают и чайничают в поте лица до самого вечера. Именно такого рода рощица существовала тогда в двух верстах от города О... Мы приехали туда после обеда, напились как следует чаю и потом все четверо отправились походить по роще. Бизьмёнков взял под руку старуху Ожогину, я — Лизу. День уже склонялся к вечеру. Я находился тогда в самом разгаре первой любви (не более двух недель прошло со времени нашего знакомства), в том состоянии страстного и внимательного обожания, когда вся ваша душа невинно и невольно следит за каждым движением любимого существа, когда вы не можете насытиться его присутствием, наслушаться его голоса, когда вы улыбаетесь и смотрите выздоровевшим ребенком, и несколько опытный человек на сто шагов с первого взгляда должен узнать, что с вами происходит. Мне до того дня еще ни разу не случалось держать Лизу под руку. Мы шли с ней рядом, тихо выступая по зеленой траве. Легкий ветерок словно порхал вокруг нас, между белыми ствола-

ми берез, изредка бросая мне в лицо ленту ее шляпки. Я неотступно следил за ее взором, пока она наконец весело не обращалась ко мне, и мы оба улыбались друг другу. Птицы одобрительно чирикали над нами, голубое небо ласково сквозило сквозь мелкую листву. Голова моя кружилась от избытка удовольствия. Спешу заметить: Лиза несколько не была в меня влюблена. Я ей нравился; она вообще никого не дичилась, но не мне было суждено возмутить ее детское спокойствие. Она шла под руку со мной, как бы с братом. Ей было тогда семнадцать лет... И между тем в тот самый вечер, при мне, началось в ней то внутреннее, тихое брожение, которое предшествует превращению ребенка в женщину... Я был свидетелем этой перемены всего существа, этого невинного недоумения, этой тревожной задумчивости; я первый подметил эту внезапную мягкость взора, эту звенящую неверность голоса — и, о глупец! о лишний человек! в течение целой недели я не устыдился предполагать, что я, я был причиной этой перемены.

Вот каким образом это случилось.

Мы гуляли довольно долго, до самого вечера, и мало разговаривали. Я молчал, как все неопытные любовники, а ей, вероятно, нечего было мне сказать; но она словно о чем-то размышляла и как-то особенно покачивала головой, задумчиво кусая сорванный лист. Иногда она принималась идти вперед, так решительно... а потом вдруг останавливалась, ждала меня и оглядывалась кругом с приподнятыми бровями и рассеянной усмешкой. Накануне мы с ней вместе прочли «Кавказ-

ского пленника». С какой жадностью она меня слушала, опершись лицом на обе руки и прислонившись грудью к столу! Я было заговорил о вчерашнем чтении; она покраснела, спросила меня, дали я перед отъездом снегирию конопляного семени, громко запела какую-то песенку и вдруг замолчала. Роща с одной стороны кончалась довольно высоким и крутым обрывом; внизу текла извилистая речка, а за ней на необозримое пространство тянулись, то слегка вздымаясь как волны, то широко расстилаясь скатертью, бесконечные луга, кой-где перерезанные оврагами. Мы с Лизой первые вышли на край рощи; Бизьмёнков остался позади с старухой. Мы вышли, остановились, и оба невольно прищурили глаза: прямо против нас, среди раскаленного тумана, садилось багровое, огромное солнце. Полнеба разгоралось и рдело; красные лучи били вскользь по лугам, бросая алый отблеск даже на тенистую сторону оврагов, ложились огнистым свинцом по речке, там, где она не пряталась под нависшие кусты, и словно упирались в грудь обрыву и роще. Мы стояли, облитые горячим сиянием. Я не в состоянии передать всю страстную торжественность этой картины. Говорят, одному слепому красный цвет представлялся трубным звуком; не знаю, насколько это сравнение справедливо, но действительно было что-то призывное в этом пылающем золоте вечернего воздуха, в багряном блеске неба и земли. Я вскрикнул от восторга и тотчас обратился к Лизе. Она глядела прямо на солнце. Помнится, пожар зари отражался маленькими огненными пятнышками в ее глазах. Она была поражена, глу-

боко тронута. Она ничего не отвечала на мое восклицание, долго не шевелилась, потупила голову... Я протянул к ней руку; она отвернулась от меня и вдруг залилась слезами. Я глядел на нее с тайным, почти радостным недоумением... Голос Бизьмёнкава раздался в двух шагах от нас. Лиза быстро отерла слезы и с нерешительной улыбкой посмотрела на меня. Старуха вышла из рощи, опираясь на руку своего белокурого вожатая; оба в свою очередь полюбовались видом. Старуха спросила что-то у Лизы, и я, помню, невольно вздрогнул, когда ей в ответ прозвучал, как надтреснувшее стекло, разбитый голосок ее дочери. Между тем солнце закатилось, заря начала гаснуть. Мы пошли назад. Я опять взял Лизу под руку. В роще было еще светло, и я мог ясно различить ее черты. Она была смущена и не поднимала глаз. Румянец, разлитый по всему ее лицу, не исчезал: словно она все еще стояла в лучах заходящего солнца... Рука ее чуть касалась моей. Я долго не мог начать речи: так сильно билось во мне сердце. Сквозь деревья вдали замелькала карета; кучер шагом ехал к нам навстречу по рыхлому песку дороги.

— Лизавета Кирилловна, — промолвил я наконец, — отчего вы плакали?

— Не знаю, — возразила она после небольшого молчания, посмотрела на меня своими кроткими, еще влажными от слез глазами — взгляд их показался мне измененным — и опять умолкла.

— Вы, я вижу, любите природу... — продолжал я. Я совсем не то хотел сказать, да и эту последнюю фразу язык мой едва пролепетал до конца. Она покачала головой. Я более не мог произ-

нести слова... я ждал чего-то... не признания — где! я ждал доверчивого взгляда, вопроса... Но Лиза глядела на землю и молчала. Я повторил еще раз вполголоса: «Отчего?» и не получил ответа. Ей, я это видел, становилось неловко, почти стыдно.

Спустя четверть часа мы уже сидели в карете и подъезжали к городу. Дружной рысью бежали лошади; мы быстро мчались сквозь темнеющий, влажный воздух. Я вдруг разговорился, беспрестанно обращался то к Бизьмёнкову, то к Ожогинной, не глядел на Лизу, но мог заметить, что из угла кареты взор ее не раз останавливался на мне. Дома она встрепелулась, однако не захотела читать со мной и скоро отправилась спать. Перелом, тот перелом, о котором я говорил, в ней совершился. Она перестала быть девочкой, она тоже начала ждать... как я... чего-то. Она недолго ждала.

Но я в ту же ночь вернулся к себе на квартиру в совершенном очаровании. Смутное не то предчувствие, не то подозрение, которое возникло было во мне, исчезло: внезапную принужденность в обхождении Лизы со мною я приписывал девической стыдливости, робости... Разве я не читал тысячу раз во многих сочинениях, что первое появление любви всегда волнует и пугает девицу? Я чувствовал себя весьма счастливым и уже строил в уме различные планы...

Если б кто-нибудь сказал мне тогда на ухо: «Врешь, любезный! тебе совсем не то предстоит, братец: тебе предстоит умереть одиноко, в дрянном домишке, под несносное ворчанье старой бабы, которая ждет не дождется твоей смерти, чтобы продать за бесценок твои сапоги...»

Да, поневоле скажешь с одним русским философом: «Как знать, чего не знаешь?» До завтра.

25 марта. Белый зимний день

Я перечел то, что вчера написал, и чуть-чуть не изорвал всей тетради. Мне кажется, я слишком пространно и слишком сладко рассказываю. Впрочем, так как остальные мои воспоминания о том времени не представляют ничего отрадного, кроме той отрады особенного рода, которую Лермонтов имел в виду, когда говорил, что весело и больно тревожить язвы старых ран, то почему же и не побаловать себя? Но надобно и честь знать. И потому продолжаю без всякой сладости.

В течение целой недели, после прогулки за городом, положение мое, в сущности, несколько не улучшилось, хотя перемена в Лизе становилась заметнее с каждым днем. Я, как уже сказано, толковал эту перемену в самую для меня выгодную сторону... Несчастье людей одиноких и робких — от самолюбия робких — состоит именно в том, что они, имея глаза и даже растарасив их, ничего не видят или видят все в ложном свете, словно сквозь окрашенные очки. Их же собственные мысли и наблюдения мешают им на каждом шагу. В начале нашего знакомства Лиза обращалась со мной доверчиво и вольно, как ребенок; может быть, даже в ее расположении ко мне было нечто более простой, детской привязанности... Но когда совершился в ней тот странный, почти внезапный перелом, она, после небольшого недоумения, почувствовала себя стесненной в моем присутствии;

она невольно отворачивалась от меня и в то же время грустила и задумывалась... Она ждала... чего? сама не знала... а я... я, как уже сказано, радовался этой перемене... Я, ей-богу, чуть-чуть не замирал, как говорится, от восторга. Впрочем, я готов согласиться, что и другой на моем месте мог бы обмануться... У кого нет самолюбия? Нечего и говорить, что это все мне стало ясным только впоследствии времени, когда мне пришлось опустить свои ошибенные, и без того несильные крылья.

Недоразумение, возникшее между мной и Лизой, продолжалось целую неделю, — и в этом нет ничего удивительного: мне случалось быть свидетелем недоразумений, продолжавшихся годы за годами. Да и кто сказал, что одна истина действительна? Ложь так же живуча, как и истина, если не более. Точно, помнится, во мне даже в течение этой недели изредка шевелился червь... но наш брат, одинокий человек, опять-таки скажу, так же не способен понять то, что в нем происходит, как и то, что совершается перед его глазами. Да и притом: разве любовь — естественное чувство? Разве человеку свойственно любить? Любовь — болезнь; а для болезни закон не писан. Положим, у меня сердце иногда неприятно сжималось; да ведь все во мне было перевернуто кверху дном. Как тут прикажете узнать, что ладно и что неладно, какая причина, какое значение каждого отдельного ощущения?

Но как бы то ни было, все эти недоразумения, предчувствия и надежды разрешились следующим образом.

Однажды — дело было утром, часу в двенадцатом, — не успел я войти в переднюю г. Ожогина,

как незнакомый, звонкий голос раздался в зале, дверь распахнулась, и, в сопровождении хозяина, показался на пороге стройный и высокий мужчина лет двадцати пяти, быстро накинул на себя военную шинель, лежавшую на прилавке, ласково простился с Кириллом Матвеевичем, проходя мимо меня, небрежно коснулся своей фуражки — и исчез, звеня шпорами.

— Кто это? — спросил я Ожогина.

— Князь Н*, — отвечал мне тот с озабоченным лицом, — из Петербурга прислан: рекрутов принимать. Да где ж это люди? — продолжал он с досадой, — шинели ему никто не подал.

Мы вошли в залу.

— Давно он приехал? — спросил я.

— Говорят, вчера вечером. Я ему предложил комнату у себя, да он отказался. Впрочем, он, кажется, очень милый малый.

— Долго он у вас пробыл?

— С час. Он просил меня представить его Олимпиаде Никитичне.

— И вы представили его?

— Как же.

— А с Лизаветой Кирилловной он...

— Он и с ней познакомился — как же.

Я помолчал.

— Надолго он сюда приехал, вы не знаете?

— Да я думаю, ему здесь недели две придется пробыть с лишком.

И Кирилла Матвеевич побежал одеваться.

Я прошелся несколько раз по зале. Не помню, чтобы приезд князя Н* произвел во мне тогда же какое-нибудь особенное впечатление, кроме того неприязненного чувства, которое обыкновен-

но овладевает нами при появлении нового лица в нашем домашнем кружку. Может быть, к этому чувству примешивалось еще нечто вроде зависти робкого и темного москвича к блестящему петербургскому офицеру. «Князь, — думал я, — столичная штучка: на нас свысока смотреть будет...» Не более минуты видел я его, но успел заметить, что он был хорош собой, ловок и развязен. Походив некоторое время по зале, я наконец остановился перед зеркалом, достал из кармана гребешок, придал моим волосам живописную небрежность и, как это иногда случается, внезапно углубился в созерцание моего собственного лица. Помнится, мое внимание было заботливо сосредоточено на моем носе; мягковатые и неопределенные очертания этого члена не доставляли мне особенного удовольствия — как вдруг, в темной глубине наклоненного стекла, отражавшего почти всю комнату, отворилась дверь и показалась стройная фигура Лизы. Не знаю, почему я не шевельнулся и удержал на лице прежнее выражение. Лиза протянула голову, внимательно посмотрела на меня и, подняв брови, закусив губы и притаив дыхание, как человек, который рад, что его не заметили, осторожно подалась назад и тихонько потянула за собою дверь. Дверь слабо скрипнула. Лиза вздрогнула и замерла на месте... Я все не шевелился... Она потянула за ручку опять и скрылась. Не было возможности сомневаться: выражение Лизина лица при виде моей особы, это выражение, в котором не замечалось ничего, кроме желания благополучно убраться назад, избежать неприятного свидания, быстрый отблеск удовольствия,

который я успел уловить в ее глазах, когда ей показалось, что ей точно удалось ускользнуть незамеченной, — все это говорило слишком ясно: эта девушка меня не любит. Я долго, долго не мог отвести взора от неподвижной, немой двери, снова белым пятном появившейся в глубине зеркала; хотел было улыбнуться своей собственной вытянутой фигуре — опустил голову, вернулся домой и бросился на диван. Мне было необыкновенно тяжело, так тяжело, что я не мог плакать... да и о чем было плакать?... «Неужели? — твердил я беспрестанно, лежа, как убитый, на спине и сложив руки на груди, — неужели?...» Как вам нравится это «неужели»?

26 марта. Оттепель

Когда я на другой день, после долгих колебаний и внутренне замирая, вошел в знакомую гостиную Ожоговых, я уже был не тем человеком, каким они меня знали в течение трех недель. Все мои прежние замашки, от которых я было начал отвыкать под влиянием нового для меня чувства, внезапно появились опять и завладели мною, как хозяева, вернувшиеся в свой дом. Люди, подобные мне, вообще руководствуются не столько положительными фактами, сколько собственными впечатлениями: я, не далее как вчера мечтавший о «восторгах взаимной любви», сегодня уже нисколько не сомневался в своем «несчастье» и совершенно отчаивался, хотя я сам не был в состоянии сыскать какой-нибудь разумный предлог своему отчаянию. Не мог же я ревновать к князю Н*,

СОДЕРЖАНИЕ

Дневник лишнего человека	5
Три встречи	75
Муму	115
Рудин	153
Поездка в Полесье	326

Тургенев И.

Т 87 Муму : избранные произведения / Иван Тургенев. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. — 352 с. — (Азбука-классика).

ISBN 978-5-389-13861-2

В настоящее издание включены ранние произведения И. С. Тургенева, в которых раскрываются важнейшие мотивы его творчества — судьбы, долга, одиночества, поиска счастья и др. В них проявился и присущий Тургеневу подход к раскрытию внутреннего мира персонажей, который позже получил название «тайного психологизма». «Поэт должен быть психологом, — говорил Тургенев, — но тайным: он должен знать и чувствовать корни явлений, но представляет только самые явления — в их расцвете или увядании». Чувство одиночества, отчаяния отличает тургеневских «лишних людей» — героев, неспособных найти применение своим силам, знаниям и таланту. Но ощущение безысходности свойственно не только индивидуалистам и бунтарям, но и маленькому человеку. Так, в повести «Муму», написанной Тургеневым на основе реальных событий, личная драма Герасима поднимается до уровня общечеловеческой трагедии. Не случайно И. С. Аксаков считал образ Герасима «олицетворением русского народа, его страшной силы и непостижимой кротости».

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос-Рус)1-44

Литературно-художественное издание

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ

МУМУ

Ответственный редактор Алла Степанова

Художественный редактор Вадим Пожидаев-мл.

Технический редактор Татьяна Тихомирова

Компьютерная верстка Ирины Габовой

Корректоры Маргарита Ахметова, Татьяна Бородулина

Главный редактор Александр Жикаренцев

Подписано в печать 23.10.2017. Формат издания 75 × 100 ¹/₃₂.
Печать офсетная. Тираж 5000 экз. Усл. печ. л. 15,51. Заказ №

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА®

119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 4

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».

170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1, комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве: ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (495) 933-76-01, факс: (495) 933-76-19

E-mail: sales@atticus-group.ru; info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге: Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (812) 327-04-55, факс: (812) 327-01-60. E-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве: ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах на сайтах:

www.azbooka.ru, www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей и творческого сотрудничества
размещена по адресу: www.azbooka.ru/new_authors/



A-AKB-22057-01-R